



## ГЛАВА 1

Дантист взметнул руку и два раза нажал на спусковой крючок. Грохот револьверных выстрелов. Отчаянный крик. Возникший в конце коридора враг рухнул на колени. Его тут же втащили за руки в операционный зал банка.

— Пан Ковган! Говорит начальник полиции Кракова. Бросайте оружие, и я обещаю вам жизнь! — послышался тонкий неприятный голос.

«Жизнь. Всего лишь жизнь, — зло усмехнулся про себя Дантист. — Этого слишком мало».

— Своей жене-шлюхе обещания давай! — крикнул он, дрожащими пальцами вставляя в барабан «нагана» новые патроны.

Все как-то не так пошло с самого начала. Будь его воля, он бы отменил акцию. С раннего утра, когда экспроприаторы только готовились выступить к месту проведения акции, проверяли оружие, в очередной раз согласовывали порядок действий, у него внутри стало тоскливо и пусто. И дело не в страхе перед боем — от него он избавился давно. Дело в дурных предчувствиях. Но старшим был не он, а Довбуш — теперь тот лежал, нашпигованный полицейскими пулями, в зале. А Дантист отсчитывал последние мгновения своей жизни, прижавшись к стене в глухом коридоре.

А все задумывалось иначе. В филиале банка «Варшавский траст» именно сегодня скопилась внушительная сумма для расплаты с сельхозпроизводителями. Зайти, положить всех на пол, прострелить ноги управляющему, если тот начнет упираться, взять ключи от хранилища — и дело сделано.

Рекогносцировку проводил лично Дантист. Составил план банковского операционного зала, других помещений, а также схему отхода — всего две улицы отделяли это место от Еврейского квартала и старого города, где легко затеряться и отсидеться.

Меньше десяти минут назад Дантист поднялся по гранитным ступеням солидного банковского здания, подмигнув поддерживающим античный портик мраморным атлантам. Сухощавый, поджарый, стриженный под бобрик, с изрезанным ранними морщинами лицом, он походил чем-то на гончую собаку. На нем были модные светлые брюки, белоснежная рубашка, синий галстук, на голове — фетровая шляпа. Просторный твидовый пиджак с расширенными плечами скрывал два старых добрых «нагана» за поясом.

Он на миг застыл перед широкими дубовыми дверьми, на которых висела табличка: «Закрывается на обед». Толкнул незапертую дверь — по обыкновению, на перерыв она не закрывалась — и зашел внутрь. Трое бойцов последовали за ним.

Его сразу насторожила гулкая тишина. В просторном помещении операционного зала с богатой лепниной потолков, плакатами, рекламирующими привлекательные банковские проценты на текущий 1937 год, за массивными резными дубовыми стойками находились трое клерков в белых рубашках и нарукавниках. Обычно во время перерыва люди жуют

бутерброды, смеются, делятся сплетнями. А тут — гробовое молчание.

— Назад! — крикнул Дантист. — Засада!

Но было поздно.

Со всех сторон — из кабинетов, подсобки — посыпались люди в полицейской форме и штатском, с пистолетами и карабинами. И у клерков тоже в руках револьверы. Снаружи взвыла сирена.

— Полиция, бросить оружие! — послышался повелительный крик.

Зря полицейский горло рвал. Головорезы из команды Дантиста никогда не бросали оружия.

Захлопали выстрелы. Опытный экспроприатор Грант, побывавший не на одном горячем дельце, рухнул, сраженный наповал. Матерый Довбуш катался по полу в крови и выл в голос. А вот новичок Балабан удачно махнул за стойку, пытался отстреливаться, но шансов у него не было.

На улице ревели моторы — это съезжались полицейские машины. Дань прогрессу, чтоб их разорвало! Похоже, здесь собралось все полицейское управление.

Дантист ринулся напролом. Метким выстрелом уложил полицейского агента в штатском и скользнул в боковой коридор с вывеской: «Только для работников банка». Там шла лестница наверх, и можно попасть в какой-нибудь кабинет и попытаться выбраться из окна. Может, полицейские не додумались устроить сплошное окружение банка.

К сожалению, полицейские оказались предусмотрительными. На единственном окне в коридоре была массивная решетка. А проход на лестницу наглухо перегораживали запертые массивные двери,

которые без взрывчатки не взять. И вот Дантист в ловушке.

— Мы сейчас бросим гранату, — надрывался начальник полиции. — И ты прикусишь язык навсегда!

— Всем вам сдохнуть! — Дантист стоял, прислонившись к стене, и ощущал, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. — Я не сдамся!

Он им покажет! Он будет рвать их зубами! Даже смертельно раненный дотянется до глотки того тонкогоголого ублюдка. Ярость кипела и стремилась к выходу. Но выхода не было. Он перекрыт тяжелыми дверьми.

Дантист сполз по стене, присел на корточки, сжимая в правой руке револьвер и положив рядом с собой второй. Он будет биться!

— Ковган, ты погибнешь зря! — не успокаивался начальник полиции — и как только берут на такие должности с такими гнусными голосами. — Выходи!

«Зря»... Это короткое слово ножом пронзило душу Дантиста. А ведь действительно — не будет поверженных врагов, красивой смерти. Он погибнет как дурак, продырявленный осколками. Бессмысленно. Не завершив борьбы, которой отдал всего себя. А пока он жив, у него остается шанс на то, чтобы вернуться в дело.

— Я выхожу, песья кровь! — крикнул Дантист.

Он поднялся. Пошатываясь, побрел по коридору. Бросил на пол оба револьвера. Поднял руки. И шагнул в зал, ловя на себе напряженные взгляды, ожидая, что у кого-то не выдержат нервы и в него сгоряча выпустят пару десятков пуль...

И вот следственная тюрьма, где его держали в одиночке. Охрану тюрьмы усилили — из-за опасе-

ния штурма, что ли? Из четверых налетчиков остался в живых еще Балабан, человек в деле случайный, знавший мало. Поэтому полиция мертвой хваткой вцепилась в Дантиста.

— Может, поведаете старику, по чьему приказу вы планировали эту акцию, уважаемый пан Станислав, — журчал словами похожий на доброго булочника толстый следователь с добродушной улыбкой на лице и холодными глазами. Развалившись в широком дубовом кресле в кабинете для допросов при тюрьме, он, по обыкновению своему, направлял в лицо допрашиваемому луч лампы, чтобы ни одно дрожание ресниц не укрылось от его взора.

— Какой приказ? — упорно стоял на своем Дантист. — У меня не было денег. Случайно познакомился с теми тремя. Решили поправить свое материальное положение, потому что в этой стране мы никому не нужны.

— Бросьте, Дантист. Вы уже не первый год состоите в боевой ячейке так называемой Организации украинских националистов. На вашей совести еще несколько нападений и убийств.

— Чепуха! Я всегда был честным гражданином своей страны. Воевал за нее с русскими. И брошен этой страной на голод и прозябание. Я хотел лишь взять свое, что мне задолжала Польская Республика. Ни в какой организации не состоял. И я не Дантист, не доучился на него. Я простой страховой агент, да и то в прошлом.

— Вас казнят, пан Станислав Ковган. И это прискорбно — вы мне симпатичны. Но вы убили одного полицейского и ранили другого. Подозреваете в налете еще на один банк и коммерческое предпри-

ятие. Единственный ваш шанс — признаться в том, на кого работали.

— Я отчаялся на роковой поступок, потому что голодал. Я не состоял никогда ни в какой организации. Мне больше нечего сказать.

Дантисту выделили государственного защитника. Энтузиазма у того не наблюдалось. Он твердил подзащитному, как неразумному дитяти:

— Шансов остаться в живых у вас немного. За такие преступления в Польше расстреливают. Так что следователь дело говорит. Признавайтесь.

— Я уже все сказал. Других признаний для вас у меня нет...

## ГЛАВА 2

За дедом пришли морозной январской ночью 1937 года. Сотрудники НКВД были строги, но тактичны и прятали глаза. Обыскивали дом без усердия, не переворачивали, как это принято, все вверх дном. Казалось, они сами не рады своей роли.

Деду, всегда спокойному и уверенному в себе, и на этот раз не изменило самообладание.

— Ничего, внук, — уже в прихожей перед выходом он потрепал по плечу подавленного Ивана — тот уже вымахал на полголовы выше его. — Они ошибаются. Разберутся и отпустят.

— Не виноваты — отпустим, гражданин Вильковский, — буркнул старший. — Советская власть справедлива.

— Вот именно, внук. Справедлива.

Иван в свои семнадцать лет не мог осознать до конца произошедшего. Его дед обвинен в чудовищ-

ных преступлениях — связи с троцкистами, шпионаже на польскую разведку. Отец Ивана, комсомольский вожак и отважный воин Казимир Вильковский, погиб в бою с беляками за Хабаровск в 1922 году. Мальчишку воспитывал дед. И воспитывал правильно.

И теперь в их большом деревянном доме на окраине Хабаровска прописались незваные постояльцы — тоска и отчаяние. Мама зачастую подолгу сидела, невидяще глядя в окно. Старшая сестра Чеслава, всегда веселая и задорная, теперь ходила словно потерянная. О дяде Виславе и говорить нечего — он переживал за отца и постоянно ждал, что придут за ним самим. Возвращался из своего райкома, где занимал ответственный пост, опустошенным и приговаривал:

— Ну вот и еще один день прожили, племяш...

Тетя Лиза была испугана, но это ей присуще. Лучше всего себя ощущали восьмилетние двоюродные брат и сестра Ивана — Любомир и Светлана. По малолетству они считали жизнь иногда пугающей, но в целом забавной игрой.

Что творится за крепкими стенами тюрьмы НКВД — не было известно никому. На свидания к деду не пускали.

Шел 1937 год. Гремели процессы над врагами народа. В Хабаровске не прекращались аресты партийцев и хозяйственников. «Ежовые рукавицы» — этот газетный термин означал, что нарком внутренних дел Ежов задушит гадюку контрреволюции железными руками.

В свои шестнадцать Иван в политике разбирался получше многих взрослых — спасибо деду, но не



так глубоко, чтобы понять все перипетии. Но одно знал точно — его дед, старый большевик Лех Вильковский, не виновен ни в чем.

Дед контрреволюционер — это звучало так же убедительно, как корова с крыльями. Ведь именно он, не жалевший время на общение с внуком, всегда твердил:

— Иван, самое главное богатство, которое у нас есть, — это наше советское государство. Наша страна — первая в мире, созданная трудящимся человеком для трудящихся людей. И наша жизнь ничто перед жизнью нашего государства, воплощенного такими героическими усилиями, которых не знал мир.

Иван впитывал эти слова как губка. Ведь дед всегда подтверждал их делами.

Лех Вильковский был человеком невероятной судьбы. Из обедневшего польского дворянского рода, в начале девяностых годов девятнадцатого века он отметился в движении националистов, мечтавших на обломках Российской империи построить Польшу от моря до моря. В них он быстро разочаровался и примкнул к социалистам. После окончания в Санкт-Петербурге Института корпуса инженеров путей сообщения работал в Малороссии на паровозном заводе, инженером-путейцем. Подбивал рабочих на стачки, за что был выслан в Сибирь. Потом, вернувшись в Варшаву, примкнул к левым эсерам. Колесил по Российской империи, участвовал в покушениях на градоначальников и полицмейстеров, в стычке был тяжело ранен. Переосмыслил свое отношение к индивидуальному террору и сошелся с большевиками. В революцию 1905 года снова был ранен и отправлен по решению суда в

ссылку в Забайкалье. А могли бы и повесить — тогда военно-полевые суды жалости не знали. В Иркутске продолжил подпольную работу. Устанавливал советскую власть. Был заместителем руководителя правительства Дальневосточной Республики. Партизанил, борясь в Забайкалье с отрядами атамана Семенова и японскими оккупантами. Его пытали в колчаковской контрразведке. Он бежал, выжил — и снова в бой. Близко знал командира Забайкальских партизан героического Сергея Лазо, которого белоказаки живьем сожгли в паровозной топке. Сыграл немалую роль в ликвидации бандитской республики в Приамурье, где верховодила известная Мурка — дочь бывшего генерал-губернатора. Встречался с Лениным, Дзержинским, Сталиным. Неплохо знал Фрунзе. Ну и Каменева с Троцким, что теперь выходило ему боком.

В середине двадцатых годов дед три года руководил ОГПУ Дальневосточного края. Потом партийная работа, откуда сбежал — надоела вечная фракционная борьба. Долгие годы мечтал об инженерной деятельности и ушел трудиться начальником Управления железной дороги. Переболел тифом. Выжил, но здоровье было подорвано. Преодолея себя и уже пятый год являлся главным инженером Хабаровского судостроительного и ремонтного завода имени Кирова, где производили подводные лодки. Член бюро крайкома, он считался боевым резервом ВКП(б).

В Хабаровске деда знали и любили. Он часто выступал перед рабочими, военными, школьниками на тему победного шествия на Дальнем Востоке советской власти. Его наполненные подробностями и

юмором истории пахли не типографской краской агитационных плакатов, а потом и кровью истинных героев. Сейчас ему и это припомнили — посчитали его иногда вольные высказывания антисоветской пропагандой.

В апреле семье Вильковских удалось добиться свидания. Мать уговаривала дядю не идти — он и сам под угрозой. Но тот отмахнулся:

— Чтобы я к родному отцу не пошел! Пускай потом расстреляют!

Заводили их по одному. Иван был последним. В узком темном помещении, куда его привел конвоир и встал за спиной, состоялся тяжелый разговор.

— Запомни, внук, — устало произнес дед. — Я ничего не признаю. Ни на кого не показал. Партия разберется. А не разберется — ну так тому и быть.

Всегда моложавый дед теперь выглядел старше своих семидесяти лет. Иван заметил кровоподтеки на его шее и царапины на губе. Деда там что, пытаются?! Это не укладывалось в голове! Но ироничный бесенок все так же горел в глазах старика. И Иван понял, что ничего не кончено.

— Больше свиданий не добивайтесь, обо мне не узнавайте, — твердо произнес дед. — Так надо.

Иван кивнул, точно зная, что это указание не выполнит.

Дела по изменникам Родины рассматривались быстро. Но дед сидел несколько месяцев, а решение все откладывалось. Хотя лучше уж так. Иван иногда просыпался в холодном поту, ему казалось, что сейчас громом зазвучат слова: «Расстрелян как враг народа».

Поздним теплым майским вечером в дверь дома постучали. Мать вздрогнула. Она теперь панически боялась ночных визитеров.

За дверью стоял дед — с котомкой, осунувшийся, небритый, но полный энтузиазма.

Иван бросился к нему на грудь и заплакал. Не плакал он с пяти лет, когда дед сказал: «Мужчинам слезы не к лицу. Для этого у нас Чеслава есть». А теперь не мог себя сдержать.

— Что за потоп? — усмехнулся дед. — Я же говорил — разберутся. Вот и разобрались.

Деда восстановили на работе, вернули служебную машину, и все вроде стало, как прежде. Только однажды вечером, в его кабинете, при свете настольной зеленой лампы, Иван будто в холодную воду бросился:

— Дед, где была наша народная власть, когда тебя били в НКВД? Тебя! Героя Гражданской!

— А может, тебе еще и рай на земле подать, внук? Справедливость — это мы. И верность долгу — это мы. И наша страна — это мы. И на партию зла не держи — она все, что у нас есть. Лес рубят — щепки летят. А леса гнилого немало. Так что забудь. И живи, как жил. Правильно живи. И помни — машина государства может давать сбой, может перемаывать своих. Одного она не может — это остановиться в своем движении в будущее. И мы должны двигать ее вперед, даже топя кочегарку углем наших тел. И оставь ты эти бурные эмоции — от них, знаешь ли, заводится ржавчина сомнений.

Дед был инженером до мозга костей, и сравнения его были из этой области. Он всегда долдонил, что государство — это гигантская сверхсложная машина.